



свящу его Вильяму.

Однажды, вернувшись со своей очередной ночной вылазки, я прилет, только устроился на ребристом диване, как слышу дикий Шизовый хохот. Выхожу на кухню, он лупит по клавишам пишущей машинки и гогочет, а по столу обалдело мечутся "пруссаки", маленькие и постарше, а, суки, орет Шиза и долбит по клавишам, а тараканы подпрыгивают и пританцовывают, как в балете.

Со временем я превратился в ночное животное. Шиза заглатывал свою дозу нейролептиков и садился на балконе, видимо, в ожидании их действия. Он сидел, сторбившись, иногда почесывая своей цыплячьей лапкой то бело-грязноватый бок, то загорелую шею, изгибаясь, чтобы добраться до хребта. Мне уже было на все наплевать.

Немного странно, сидит человечек и ждет, когда в кровь поступит снотворное, и чешется. Я смотрел и думал, вот и остается в человеке самое-самое. Спать и чесаться. Я просто смотрел и думал.

А потом приходила ночь. Она заполняла все вокруг. Я, как губка, впитывал ночь - она очищала меня. Звуки появлялись другие, сверчки, каблуки и мощный рокот одиноких тяжелых машин, гудки теплоходов. Запах свежего асфальта после дождя, краем плаща лишь задевшего город. Пенье невидимых птиц. Шорох щебня под рваной кроссовкой моей. Далекие голоса плывут по реке. Купания влюбленных.

Темнота приносила прохладу, и я, натянув свои старые, белые и мягкие от стирок и времени джинсы, облачившись в желтую майку, спускался в засанном лифте и выходил в ночь. Я искал пустыри, все, что в темноте казалось развалинами, привлекало, притягивало. Случалось, я забредал в такие места, которые потом, сколько не разыскивал, не мог отыскать. Под утро, возвращаясь, сворачивал на Ново-Садовую, шел по траве у трамвайных путей, на Советской Армии спускался к Волге и двигался по грунтовке мимо бывших дач бывших советских партийных крыс, а теперь здесь другие, более живучие крысы сладко спят. Мимо воя московских сторожевых, я углубляюсь в частный сектор. Здесь дворняги, классовая ненависть, запах бензина и деревни, пара фонарей, сохранившихся чудом, тишина и редкая пьяная ругань ночью, и снова сны, а потом опять завод, опять ярмо.

Ближе к рассвету становилось прохладнее, пробирала слегка дрожь. Река дышала спокойно, никогда не забыть этого дыхания большой реки. Сначала я шел по песку, потом под ногами оказывались камни, идти становилось труднее, шаг превращался в крадущуюся походку.

Когда идешь по песку, то думаешь в одном ритме, этот ритм меняется, стоит ступить на камни или асфальт. Идя по камням, я старался не шуметь. Как будто крался, хотя пляжи чаще всего пустовали. Подняв голову; я смотрел, как на светящемся горизонте тонко-тонко тлела какая-то звездочка, а может быть, это была планета. На пустыре рядом с кирпичным зданием санатория, кажется, звался он "Ивушка", я пробирался сквозь заросли цикория. Это тихое море высоких цветов доходило до солнечного сплетения мне.

Доносились утренние запахи из открытых дверей санаторской столовой. Утренние запахи пищи. Кофе с молоком, иногда какао, мясо и свежие, только что вымытые огурцы. Однажды я вошел в облако, пахшее жареными грибами и картошкой. Я долго стоял, вдыхая этот запах, и, в конце концов, чуть не расплакался. Это был запах людей, запах их жилищ. Это был запах жизни. Я, как зверь, втягивал воздух, глаза наполнились слезами, ноздри трепетали. Через минуту, злобно ухмыляясь, я уже рвал цикорий и кашку, добавлял пару кустиков свежей полыни, бледной, а стоит прикоснуться, как листья темнеют. В зависимости от настроения, я присоединял к своему букету что-нибудь низкорослое и жалкое, с желтенькими цветочками. И называл этот гербарий "мой сиротский букет".

В одно из таких утр я разговорился со старухой-поварихой из этого санатория. Мы стояли на крыльце, она рассказывала о любимой дочке, о том, какие нелады с мужем, а у кого лады, говорю. "Да-а", - философски проронила повариха, потом про войну вспомнила, раньше время, говорит, было.

- Эй,- слышу,- хватит, старую песню запела.

Это сторожиха, поварихина подруга, подала голос. У них идейные разногласия. Стою, слушаю повидавших людей.

- Что ты все время и время вспоминаешь, молодая была, поди весело пожила, налюбилась, детей кучка, а все не нравится старушке время! Вспомни частушку: Раньше ели редьку с квасом И попердывали басом, А теперь балык едят, Не пердят, а лишь шипят!

Мы с поварихой смеемся.

Ворча на шаркающем ходу, сторожиха, так и не показавшись на сцене, уходит в глубину прохладной еще столовой.

На прощанье повариха протягивает пакет молока.

Оно ледяное, видимо, прямо из холодильника.

- Пей осторожно,- предупреждает повариха. Хотела пойти за стака-

ном, нет, говорю, в дороге попойю. И поблагодарив, отваливаю. Поднимаясь по Советской Армии, надрываю угол пакета, иду и отхлебываю холодную живительную влагу. Это не очень удобно, в левой руке букет, а в правой мягкий пакет, но стоит приловчиться, как думаешь, лучше и не бывает.

Частенько встречал меня ор телевизора из комнаты Шизы. Так он поддерживал связь с миром. Соорудив что-нибудь поесть вроде яичницы с поджаренным черным хлебом, я орал Шизу и мы, молча и быстро, все поедали. Со стороны, наверное, мы напоминали животных на водопое.

Спасибо Шизовой матери, она не дала нам подохнуть с голоду. Она надеялась, что под моим влиянием Шиза образумится. Эта надежда грела ей сердце, а нам давала пищу.

Спасибо ей, она тихонько приносила яйца, мясо и другую снедь, мы шептались на кухне о ее сыне, пока тот плавал в своих грезах, навеянных транквилизаторами, она вспоминала детство свое и Шизы.

Однажды она купила целый бидон клубники, отборной, как для принца крови. Эту клубнику съела принцесса, пьяненькая парикмахерша. Шиза подобрал ее как-то ночью на углу Шверника и Ново-Садовой.



Он сказал, что эта красавица испугалась бродячих собак и стояла вся нерешительная и трогательная, Шиза любил подобные определения. Я помню ее ладони в рыжих разводах хны, вьезшей в каждую пору кожи, кажется, будто эта принцесса только что терла свежую морковь. Рано утром, проспавшись, она, видимо, была слегка удивлена присутствием рядом в постели незнакомого лысого мужчины. Как фурия она носилась по комнатам с возгласом: "Кто меня трахнул?" А потом с горя наелась клубники, и я держал ее голову над унитазом, непроваренная ягода выходила крупными сгустками. Шиза, хитрец, даже не проснулся.

Прошло еще несколько похожих друг на друга жарких дней. Я сидел в сортире, читал старую газету с анекдотами, слышу - где-то наверху плачет ребенок, хотя выше меня только чердак. Пусть, думаю, плачет. Надо уважать детское горе. Сидел-сидел, а потом психанул. Одеваюсь, а сам думаю, залезу на этот проклятый чердак, поймаю и убью. Поднимаюсь. Открыв люк в страшную духоту, осматриваюсь. Засранный голубыми чердак. Эти птицы мира просто маленькие фабрики по производству дерьма. Плач прекратился, как будто кто-то прислушивается. Два запарившихся голубя, испуганные шуршанием керамзита, перелетели, как огромные моли, на другое место и опять впали в спячку. Духота неизменно собралась спускаться. Смотрю за балкой что-то белет. Оказалось, кук-

ла. Голая кукла без левой руки, волосы желтоватые свалились, как комок паутины.

Постоял, посмотрел и прикрыл ее куском чих-то штанов. Спускаюсь, думаю, тебе бы руку открутили, не так плакал бы.

Все кончилось шестого августа. Было так называемое "обеденное время". Лежа на полу, я читал очень грустную андерсеновскую историю "Тетушка Зубная боль". Мать Шизы вошла неслышно, она всегда появлялась незаметно. Пройдя на кухню, она стала выгружать в холодильник что-то съестное. Только тогда я ее и услышал. Натянув джинсы и футболку, я вышел поздороваться. На мой вопрос, где Шиза, она, пожав плечами, принялась чистить картошку. Он ведь к вам пошел, сказал я. Что-то меня насторожило в том, как она аккуратно и методично снимает тонкую стружку с картофелины.

Я вызвала бригаду, сказала она, он теперь в больнице, говорят, там хороший уход и врачи. Она продолжала снимать кожуру с картошки.

- Сейчас обед приготовлю,- сказала она и, улыбаясь, посмотрела на меня. Мы уже сидели за столом, когда она вспомнила про бутылку водки в сумке. Споласкивая стаканы, я смотрел на эту женщину. Она сидела ко мне спиной.

Мы выпили сразу по полстакана.

- Оставайся здесь, Димка,- сказала она,- тебе никуда не надо уходить. Я буду готовить, делать все равно нечего, на пенсии сижу. Тебе постирать кое-что надо. Оставайся, ты мне как сынок.

Я ушел под утро. Эта усталая женщина, опьянев, уснула на кровати сына. Не стоило ее будить.

На первом трамвае я добрался до Ботанического сада и, проскользнув в него со стороны Оврага, нашел лавку и отлично выспался.

Правда, я иногда слышал, как сторож шуршит метлою, но он, видимо, пожалел молодого человека, и я, ни о чем не думая, спокойно проспал до полудня. Проснувшись, я закурил, было зябко, сидел и курил, и вся моя жизнь лежала передо мною.

- Вставай, задница, сказал я себе, нужно идти.